

Дарья Христовская – это совершенно новое для меня имя в современной русскоязычной поэзии. Но это, на самом деле, имя, потому как её стихи – и смыслы, и лексика, и образность, и просодия, и нечто между (-по, -над) всем перечисленным – безусловно, самобытные, именные. Стихи Дарьи читать невероятно интересно. Им

доверяешься. Они, начавшись, не отпущают до заключительного слова. Более того, они продолжают в некоей посттекстовой тишине. Это дорогого стоит.

О. Г.

* * *

приходит смс
он был крещёный?
да нет, какая глупость
но а вдруг
вдруг скажем покрестили
скажем в детстве
по настоянию бабушки
и тёти
каким-то странным именем
чужим

и набираешь номер, чтоб спросить

* * *

Погляди, старик, наступает осень: вот снежнoгoдник, вот крушина.
Ледяная ночь, и лиловые сосны её дружина.
Белый туман напoлзает клочьями, как невычесанная псина.
Утром выходишь: думаешь – холодно. Но – красиво.
Розовый дым поднимается из котелен,
Каждое дерево иггдрасиль, каждый день потерян.
С брюха сизого облака поутру свисают чёрные перья.
Духи поднялись в лес, и в низинах темно от пенья.
Странные существа выползают наружу, невидимы-невредимы.
В подземелье течёт река, редкая птица долетает до середины.
Комель каждой берёзы гонит вверх её сок. К сентябрю каждый лист, как губка, пропитан ядом
(и поэтому кажется, что все ушедшие где-то рядом).
К осени в ней начинается паводок. В каждой луже немного её воды.
Потому снаружи
так холодно. Каждой осенью время Стикса
наступает внезапно: но что не вспомнится, то простится.
Как тебе дышится там, по ту сторону памяти: неужели тем же гнильём и прелью,
Тем же кристальным утренним холодом, не чета апрелю,
Той же узкоколейкой, где двести лет ни поезда, ни дрeзины,

Тем же нездешним воздухом, что поднимается из низины?
Те, кто живёт в тумане, берут своё: не кáтаньем, так терпеньем.

Лес полон тленьем и умираньем,
но – пеньем, пеньем.

* * *

Кому-то мать и нежная сестра,
кому-то урсулинская монашка,
а мне сырая, взвинченная тётка
из-под Саратова. Не думайте плохого,
я сам из-под Саратова: ну вот,
и мы с ней оказались земляками.
Я говорил ей: не садись в мой поезд,
не ешь свою варёную картошку,
но разве та послушает, – она
ни господу не слушает, ни чёрта,
она бородино и халхин-гол,
и битва у шестого гастронома,
она, она и коклюш, и чума,
и жадно ест, и складывает кость
в пустой эмалированный лоточек.
Потом я потерял её в толпе,
но сколько лет прошло – а стоит где-то
картошечкой с огурчиком запахнуть,
куриной ножкой бледною варёной,
так сразу, сразу, думаю о смерти.

* * *

Падает снег, и зима за оградой белым бела.
Город застыл в настоящем, как в янтаре пчела.
Кажется: прошлого нет, потому рука
просящего, к жадному сердцу протянутая, легка.
Настоящее жрёт свой хвост и отрывает синюю чешую
в белых узорах. Одноглавая церковка ошую,
монастырь одесную. Разбитая чашка приманивает весну,
как синицу сало. Солнце вонзается в воду, как кость в десну.
От настоящего никуда не скрыться – о том и речь –
в городке, где каждому ведомо имя её – не спрятать и не сберечь,

где в приусадебном садике плотным ковром растут лазоревка и самшит,
где прошлое так туманно, а будущее страшит.

СОЛЬ

Темнело. Приближался ссудный день;
трамваи скрежетали как зубила;
блудница ехала; земля втянула тень,
и всё что нужно трижды вострубило.

На перекрёстках сделалось темно:
едва-едва дотянешь до полочки.
Вернуть до капли всё, что ссуждено,
и попроситься к господу на ручки –

возьмёт? – столетье, взятое займы,
а всё на ту же музыку ложится –
но в ссудный день, как в первый день зимы,
мне не у кого солью одолжиться.

ПРОСЫПАЯСЬ В СТАРОСТИ В ТУМАННОЕ УТРО ПЕРВОГО ДНЯ СЕНТЯБРЯ

проснёшься вдруг – и всё тебе не впрок;
весь мир прозрачный, призрачный, непрочный,
как будто ты не выучил урок –
но час был беспечальный, неурочный;
как будто память к старости, шутя,
неверная, задумывает шалость.
она: не долготерпит, как дитя;
не любит; не испытывает жалость –

* * *

сам сон забылся; но его шаги
ещё звучат. Зелёная ограда
шестой гимназии видна издалека.
господь суров и носит сапоги,
как школьный комендант; изгнать из сада
за воровство – в другие берега.

под окнами – витая баллюстрада.
страдание – осенняя страда.

* * *

был изгнан из гимназии. за то, что
не выучил урока? нет. не там поставил точку?
нет, не то. за воровство лиловых поздних яблок
из сада коменданта? может быть.
из глубины безжалостного сна
ты повторяешь, стискивая зубы:
не лгал учителям; не предавал
товарищей; не обижал; не крал;
на службе в церкви громко не смеялся.
зачем – всю жизнь – один и тот же сон
меня терзал, но только лишь сегодня,
туманным утром, первым сентября
я был прощён и возвращён обратно,
и комендант гимназии во сне
протягивал мне белый аттестат
как жёлтый аусвайс – годами позже?
он был во сне – пожалуй, не господь;
возможно, Пётр; а может быть, из прочих
мелкопоместных ангельских чинов;
а может быть, и вовсе разночинец.

* * *

я просыпаюсь с мыслью: прощены.
гляжу в окно и знаю: до весны
и я восстановлюсь в господней школе.
и мысль, ничем не сдержанная боле,
несёт меня в нездешние края,
покуда парк окутан белым газом –
крылом моравской птицы, чёрным глазом
мне подмигнувшей: голубь – это я.

ПАСХА

долго ли спяну стыть на ветру долго ли жить дураками
в руках ли красное яичко катать молиться о неблагом
выходил иван поздний сын поутру вытирал глаза кулаками

уходил по пояс в сырой траве глинозём месить сапогом
да
долго ли, говорит, недолго ли шёл когда повернул обратно
ничего не помню было темно горел светлячок в горсти
но ни видал ни зги кроме этой степи травы её сырмятной
и тишины – тишина была больше, чем можно перенести
но в ней,
в тишине, каждый шаг гремел, цикад цимбальная свора
звенела свой циркадный набат незыблемый как стена
но голубая трава поднималась вверх из глины, песка и сора
и диск степи был горбат как кит выныривающий со дна
так
кажется вечность не перемочь и ночь уже не растает
и сколько железных сапог стоптал но отчего-то жива
слепая вера в то, что когда-нибудь солнце всё-таки встанет
докатится красным яичком да попадёт в небесные жернова
и
сколько ты, говорит, ни живи дураком белой ни жди голубки
сколько ни пяль глаза в небеса ожидая благую весть
а где-то лежит в голубой траве осколок красной скорлупки
который помимо всего другого значит, что пасха есть
и будь ты испуган или потерян лежишь ничего не видишь
песок под веками руки прячешь в сиротские рукава
и каждому выверен свой предел и ты за него не выйдешь, –

но вдруг встаёшь открываешь дверь выходишь
а там трава.